**В. Немирович-Данченко**

**Находка**

**I**

Что это была за Рождественская ночь! Пройдут еще десятки лет, тысячи лиц, встреч и впечатлений мелькнут мимо, следа не оставят, позади тебя длинный ряд могил вытянется - а она все будет пред тобой как живая, в лунном блеске, в причудливой рамке Балканских вершин, где, казалось, все мы были так близки к Богу и его кротким звездам...

Я ее хорошо помню: точно еще вчера добрался до самого темени Куруджи, сахарная голова которой еще накануне с самого утра дразнила нас: «Все-де вы прошли и осилили, а меня вам не одолеть!» И одолели; только сами, едва дорывшись до земли, свалились на нее, чтобы хоть немного отдышаться. Далеко-далеко в таинственном свете чудились безлистные деревья, точно скелеты, протягивавшие к нам снизу свои костлявые руки; еще ниже синими тенями намечались глубокие ущелья. Долина Казаилыка вся курилась белым паром, а за ней и манил нас, и призрачным казался какой-то мираж. Что там было: облака, заснувшие под луной, или горы, мы не знали. Налево, к востоку, смелым взлетом, точно на ладони приподнятый к самому небу, дремал св.Николай с траншеями наших полузамерших богатырей, отстоявших тут в тяжелые дни третьей Плевны и честь и достоинство России. Вечная память им теперь!.. Мало их осталось между ними, но дело их не пропало там, где каждое добро, каждая тайная мысль, каждая безмолвная жертва и целомудренно необнаруженное страдание в красную строку записано для суда и воздаяния…

**II**

Как теперь помню: лежали мы пластом; усталость так морила, что не хотелось даже близко к костру придвинуться. Сырое дерево шипело, обвиваясь дымом, тысячи искр взлетали в высоту; когда оно трескалось, сотни золотых змей, казалось, бегали в самом полыме. В красной массе разгоревшегося угля порой открывались чьи-то огненные очи и опять подергивались сизой пленкой. Фельдфебель последним прилег. Ему пришлось указать места всей роте, проверить солдат, принять приказание от командира. Это был уже старый солдат, оставшийся на второй срок. Война подошла – стыдно ему показалось уходить от нее. Я давно к нему присматривался. Он принадлежал к тем, у кого под холодною внешностью бьется горячее сердце. Брови нависли сурово - и глаз не разберешь, а рассмотри их – прямо к нему со своим горем самый ледящий солдатишко доверчиво пойдет. Добрые, добрые они – и светились, и ласкали, и точно смеялись чему-то. Усы ощетинились – съест, а на губах, под ними, какая-то детская, наивная улыбка… Лег он, потянулся... "Ну, слава Богу, теперь для-ради Рождества Христова и отдохнуть можно!" К огню повернулся, трубку вынул, закурил. В морозном воздухе балканской ночи запахло, и вкусно запахло, дешевой махоркой… «Вместо чаю!-засмеялся он.- И дешево, и самовара не надо!.. Теперь до рассвета – покой..." И вдруг мы вздрогнули оба. Близко-близко где-то залаяла собака. Да еще как! Отчаянно, точно на помощь звала, будто во всю свою пасть орала: «Ратуйте, православные, пропадаем…» Нам было не до нее. Мы старались не слышать. Но как это было сделать, когда лай становился все ближе и оглушительнее. «Раненая, что ли? Или кто из лодырей пришиб ее?.. Тоже ведь , подлецы, забавляются: любо им Божие творенье мучить!..»

**III**

Собака, очевидно, бежала по всей линии костров, не останавливаясь нигде. Заняв самое темя Куруджи, мы, как я уже сказал, до земли дорылись, а отброшенный снег вокруг нас составил нечто похожее на вал. Будь ветер – от него все-таки защита и за таким валом. Нас уже пригревало костром, у меня глаза слипались, и ни с того ни с сего я даже дома очутился за большим чайным столом, должно быть, засыпать начал, как вдруг лай послышался у меня над самым ухом. Я приподнялся на локтях. «Чего ты, дурная!» - говорит рядом старик фельдфебель. Именно дурная! Лохматая, в каких-то плешинах, на кривых лапах и неизвестно где утратившая хвост, собака взбежала на наш вал и неистово заливалась, как-то смешно подымая острую, с торчмя стоявшими ушами морду. Уставая лаять, она зорко всматривалась в нас. Ко мне подбежала – и вдруг прочь кинулась. И даже заворчала. Я так и понял, что не оправдал ее доверия... К фельдфебелю сунулась, к самой голове его; тот поманил ее. Она ему в мозолистую лапу холодным влажным носом ткнулась и неожиданно завизжала и заскулила, точно зажаловалась... Мы диву дались – и лает, и визжит, и руку ему лижет, а потом ни с того ни с сего схватила зубами полу его шинели и потянула ее, смешно упираясь передними лапами в землю и все откидываясь на задние. "Неспроста это! – вырвалось у солдата. – Пес умный... У него дело ко мне есть!.." Точно обрадовавшись, что ее поняли, собака выпустила шинель и радостно-радостно залаяла, а там опять за полу: «Пойдем-де, пойдем скорее!..»

**IV**

«Неужели вы пойдете?» – спросил я у фельдфебеля. «Значит, надо! Пес завсегда знает, что ему нужно... Эй, Барсуков, пойдем на случай чего!..» Несуразный, но крепко-накрепко сшитый солдат тоже поднялся. Про таких, как он, говорят: ветлужской работы – пятью ломами не прошибешь.

Собака уже бежала впереди и только изредка оглядывалась, уже отрывисто и деловито тявкая: «Так-де… Еще немного!..»

Я опять стал засыпать у костра, мне уже чудился конец этой войны, теплые дома, мягкие постели.. Голубые воды Эгейского моря, синяя глубь Босфора с золотой оправой его берегов, белое марево Стамбула и русский пароход, на который я сажусь, чтобы вернуться домой, и родная молвь, и милые, дорогие лица, и девичий смех, и забытая ласка матери… Должно быть, я долго спал таким образом, потому что в последние мгновения сознания в моей памяти как-то осталось: луна надо мною на высоте; а когда от внезапного шума я поднялся, она уже была позади, и торжественная глубина неба вся искрилась звездами. "Клади, клади осторожнее! – слышалось приказание фельдфебеля. – Ближе к огню..." Солдаты подымались от костра, глядя сюда. Барсуков опускал на землю что-то завернутое, темное. Я протер глаза… Та же собака прыгала кругом, точно распоряжаясь, как опустить, как положить. Лаяла она уже тихо и ласкаясь ко всем, будто заискивая общей дружбы и расположения. Даже мне в лицо ткнулась мордой – вставай-де, помогай и ты, чего пластом лежишь, разве не видишь, какое тут дело случилось! И уши у нее по-прежнему торчком, и лохмы дыбом.

**V**

Я встал… Подошел… На земле у костра уже лежало то «темное», что я смутно различил спросонок. Не то сверток, не то узел, напоминавший формой детское тело. Стали распутывать это темное, а фельдфебель торопливо рассказывал. Потом уже мне удалось восстановить события, как они происходили. Собака привела наших на засыпанный снегом скат горы. Там лежал кто-то, точно заснувший. Наклонились, и прямо на них, под лунным светом, не мигая, смотрели большие черные глаза. Бледное-бледное лицо с плотно сжатыми губами, и особенно резко выступавший на лбу из-под всклокоченных и примерзших волос какой-то старый, должно быть, но теперь вздувшийся и посиневший шрам. Собака ткнулась к этому лицу, лизнула его и завыла, как-то странно подбирая зад, должно быть поняла, что оно уж не улыбнется ей больше… «Закостенела! – тихо проговорил старый фельдфебель. – Ишь руки, что твое дерево…» Они бережно держали у самой груди какое-то сокровище, с чем бедной "беженке", как их тогда называли, всего тяжелее было расстаться или что она хотела во что бы то ни стало, хотя бы ценою собственной жизни, сохранить и отнять у смерти... Рук этих отвести нельзя было, их пришлось оставить и распутывать из-под них дорогую ношу… Что тряпок на ней оказалось! Все с себя сняла несчастная, чтобы для другого существа сберечь последнюю искру жизни, последнее ее тепло… Под тряпками – овечья шкура, и в ней-то было завернуто это таинственное «нечто», к чему так неистово приглашал лохматый пес…

**VI**

"Ребеночек? – толпились солдаты. – Ребеночек и есть!.. Вот послал на Рождество Господь... Это, братцы, к счастью…" Лохматка сидела, пытливо вглядываясь во всех, но, заметив общее расположение к «находке», обрадовалась и на весь балканский простор пролаяла так оглушительно, что от ближайшего костра встал и пришел к нам командир. «Что у вас тут?» - «Дитю Бог послал!..» Тот только брови поднял. Капитан сам был семейный и толк в этом понимал. «Чего же вы его распутали?» Но Барсуков, нагрев над огнем овчину, живо завернул в нее маленькое существо, довольно спокойно относившееся к новой обстановке. Ребенок вел себя рассудительно свыше всякой меры. «Хотите на меня смотреть, - казалось, думал он, - ну смотрите, меня от этого не убудет». На красном комочке лица, из-под слегка припухших век, серьезно смотрели серые глаза, останавливаясь то на мне, то на командире, то на фельдфебеле… Нос пуговкой как-то сморщился. «Плакать собирается!» - заметил кто-то. Ребенок и тут оказался на высоте своего положения. Безбровый лобик его разгладился, рот вытянулся трубочкой, потом раскрылся и откровенно зевнул: «Вот-де вам, чего мне надо…» Я дотронулся до его щек – мягкие оказались, теплые... Глаза его блаженно закрылись, и из-под овчины, назло всей этой обстановке – боевым кострам, морозной балканской ночи, ружьям, составленным в козлы, и тускло блиставшим штыкам, дальнему, десятками ущелий повторенному выстрелу, - перед нами покойное-покойное было детское личико, одною своею безмятежностью обессмысливавшее всю эту войну, все это истребление, все эти жестокие инстинкты!..

**VII**

Барсуков разжевал было сухарь с сахаром, оказавшимся в чьем-то запасливом солдатском кармане, но старый фельдфебель остановил его: «Внизу сестры милосердые. У них для ребеночка и молочка найдется!.. Дозвольте отлучиться, ваше высокоблагородие». Капитан дозволил и письмо даже написал, что рота берет находку на свое попечение… Лохматке очень понравилось у огня, она даже лапы вытянула и брюхом к небу обернулась: «Нате-де. Вся я тут перед вами, какая есть – не взыщите!» Но как только фельдфебель тронулся с места, она без сожаления бросила костер и, ткнувши мордой в руку Барсукова, со всех ног кинулась за ним. Старый солдат нес дитя под шинелью бережно. Я знал, какой страшный путь прошли мы, и с невольным ужасом думал о том, что его ожидало: почти отвесные спуски, скользкие, обледеневшие скаты, тропки, едва державшиеся на ребрах утеса... К утру он будет внизу, а там – сдал ребенка и опять вверх, где рота уже построится и начнет свое утомительное движение в долину Тунджи!.. Я заикнулся об этом Барсукову. Несуразный ветлужанин, смотревший в огонь, круто обернулся ко мне и уставился на меня. "А Бог-то?"-спросил он. "Что?" – не понял я сразу. «А Бог-то, говорю?.. Нешь Он попустит?..» Еще раз издали донесся до меня веселый лай, и я опять заснул, разогретый огнем костра и успокоившийся после только что пережитого волнения…

И Бог действительно помог старику... На другой день он рассказывал: "Точно крылья несли меня. Там, где одному было жутко днем, а тут в туман спустился, ничего не вижу, а ноги сами идут, и дите ни разу не крикнуло!.. И сестры как обрадовались: скажи, говорят, капитану, что мы его выходим и собаку приютим!

**VIII**

Но собака, сверх всяких ожиданий, поступила совсем не так, как хотелось сестрам. Она осталась было и первые дни пристально следила, не спуская глаз с ребенка и с них, как будто хотела убедиться, хорошо ли будет ему и заслуживают ли они ее песьего доверия. Лохмач даже отъелся за это время. По ночам он ложился у постели «найденыша» и неизменно всякий его крик сопровождал лаем: «Вставайте-де. Чего спите, когда он кушать просит». Но сестры вставали и без этого. Усталые, измученные после целого дня безотрадной работы над раненными, он все-таки находили в своих святых душах неиссякаемые источники нежности и любви для этого жалкого, осиротевшего существа. Мало-помалу убедившись в том, что и без него ребенку будет хорошо, пес позволил себе посещать госпитали, где по целым часам сидел, безмолвно глядя на больных, или, опуская лохматую голову, погружался в свои собачьи мысли о тщете всего человеческого… В «последнее» утро, почему «последнее»- сейчас об этом будет сказано, сестры видели, как верный пес стал передними лапами на постель к ребенку и долго смотрел на него, а потом выбежал из палатки и, присев, задумался. Наконец, приняв какое-то твердое решение, он обежал всех сестер, приласкался к каждой, явился на кухню к полюбившемуся ему повару и тому мокрым носом толкнулся в руку – и исчез неведомо куда!..

**IX**

Неведомо куда – для сестер – в первое время. Наша рота двинулась из Казанлыка за Малые Балканы, и вот на одном перевале, где снег уже остался позади, а царство невылазной грязи ожидало нас впереди, - не успели мы выстроиться, как перед фронтом необыкновенно молодцевато, во весь карьер своих четырех кривых лап, еще более лохматая, вся залепленная слякотью, но оглушительно и весело лая, пронеслась знакомая собака. Она твердо знала разницу в чинах, потому что прежде всего оставила грязные следы на груди капитана, потом завертелась у ног фельдфебеля и, наконец, радостно приветствовала Барсукова, кинувшись тому к самому лицу… Барсуков отплюнулся, пробормотал: «Ишь-паршивая», но смотрел на пса добрыми и ласковыми глазами… Окончив с этим, собака поместилась на правом фланге, около фельдфебеля, и с тех пор это было ее неизменное место. Она шла и останавливалась с нами. Солдаты ее полюбили и прозвали почему-то "ротной Арапкой", хотя с Арапкой у нее не было никакого сходства. Она была покрыта светло-рыжею шерстью, а голова у нее оказывалась после дождя, разумеется, совсем белой. Тем не менее, решив, что на мелочи обращать внимания не стоит, она стала и на имя "Арапки" отзываться весьма охотно. Арапка так Арапка. Не все ли равно – лишь бы с хорошими людьми дело иметь.

Вы помните Хаскиойские поля? Море грязи внизу – море непроглядного тумана над ней.. Туман сливался с грузными медлительными тучами. В нем двигалось что-то громадное, темное, зловещее. Подошли наши войска – оттуда, из самых недр этой мглы, грянули залпы. Мы ответили тем же и ударили в штыки – турецкие таборы бежали, но за ними оказались сотни тысяч беглецов. Жены с детьми, старики со старухами. Наши солдаты остановились. Жалость была на их лицах. Но напуганное муллами, поднятое со всех мест султанскими эмиссарами мирное население долин Марицы и Тунджи сослепу кинулось за таборами. Куда?.. Разве они знали в бессмысленной панике! Голодные, терявшие детей в этой слякоти, тысячами умиравшие сами… Несколько дней мы собирали еще дышавших, еще живых и ротная Арапка при этом делала чудеса. Она рыскала по всему этому простору и громким отрывистым лаем обозначала тех, кому еще могла принести пользу наша помощь. Она не останавливалась над мертвыми. Ее верный собачий инстинкт указывал ей, что вот тут под набухшими комьями грязи еще бьется сердечишко в маленьком детском теле. Она живо дорывалась кривыми лапами до него и, подав голос, бежала к другим. Благодаря этому чудесному псу было спасено много жизней. "Тебе бы, по-настоящему, медалью следовало", – ласкали ее солдаты. Но животным, даже самым благородным, дают, к сожалению, медали за породу, а не за подвиги милосердия. Мы ограничились только тем, что заказали ей ошейник с надписью: "За Шибку (Куруджу) и Хаскиой – верному товарищу"...

**X**

Сон, грезившийся мне у костра на самом темени балканских вершин, скоро исполнился. У моих ног ласково шумели синие воды Эгейского моря, в лазурном царстве которого до сих пор чудится купающаяся Амфитрита, потом через несколько дней в теплый свет уходили дивные дали Геллеспонта, и, наконец, все в золотистом тумане, стройное и художественное мерещилось несравненное марево Константинополя. Башни за башнями, дворцы за дворцами, минареты за минаретами. Как многоочивый змий апостола, оно по ночам горело тысячами огней, дразня наши ревнивые глаза вечной несбыточной сказкой русского Царя-града… А там прибыли наши пароходы – и я помню, как старый фельдфебель пошел проводить меня с неразлучавшейся с ним Арапкой. "Кланяйтесь матушке-России. Авось и нас Бог приведет!.." – говорил он мне, а Арапка с берега лаяла на меня, ставя шерсть дыбом и уши торчком: «Чего-де ты, куда? Разве здесь не хорошо? Аль совсем ополоумел?» Когда лодка моя отчалила, Арапка даже в воду сунулась и завыла, считая меня, очевидно, погибшим… Тихо-тихо сбегался Константинополь в одну кучу минаретов, сливался в один белый комочек; темное и неприветливое, бурей встретило нас Черное море, и через два дня мы впервые в эти полтора года издали расслышали торжественный звон родных колоколен…

**XI**

Несколько лет прошло с тех пор. Сотни могил остались позади. Старые поблекли и слиняли. Кто и помнит о них – так про себя больше. Ехал я как-то по задонскому приволью... Русский простор охватывал меня отовсюду своим ласковым зеленым могучим дыханием неоглядных далей, неуловимою нежностью, что живоносным источником пробивается сквозь его видимое уныние... Сумей подслушать его, найти, напейся его воскрешающей воды - и жива душа будет, и потемки рассеются, и вера воскреснет, а сомнению места не останется в сердце, как цветок, открывшимся теплу и свету... И зло пройдет, и добро останется во веки веков…

Вечерело... Потянуло сыростью с поемных лугов; тихий благовест донесся откуда-то… Мой ямщик добрался, наконец, до села и остановился на постоялом дворе. Мне не сиделось в душной, полной назойливых мух комнате, и я вышел на улицу. Вдали крыльцо. На нем пес растянулся – дряхлый-дряхлый..., куцый. Прощальный луч заката блеснул на его ошейнике. У мужика – и собака с ошейником? От нечего делать – и любопытен становишься. Подошел... Господи! Старый товарищ…"За Шипку и Хаскиой..." Арапка, милая! Но она только подняла голову и, не узнав меня, пробовала залаять – только ничего у нее не вышло. Хрип какой-то…. Я в избу - дед сидит на лавке, мелюзга кругом шебаршит. Взрослые с поля еще не вернулись. «Откуда у вас собака эта?» - «Наша, ротная!..» - «Батюшка, Сергей Ефимович, вы ли это?» – крикнул я. Вскинулся старый фельдфебель – разом узнал, и по лицу знакомое что-то пробежало. Брызни на ветхую, слинявшую картину водой, и на минуту поблекшие лица выступят на ней в блеске и жизни молодости. О чем и что мы говорили - кому до того дело? Наше нам дорого, и на весь свет кричать об этом даже стыдно поди... Арапку мы позвали – едва доползла, волоча брюхо, и у ног хозяина улеглась, хрипя и задыхаясь. «Помирать нам с тобой пора, ротный товарищ, – гладил ее старик, – довольно пожили на покое!..» Собака подымала на него угасавшие глаза и повизгивала: "Пора-де, ох, давно пора!"

- А помните, как она браво тогда на Курудже лаяла на нас?..

– Ну а что с ребенком сталось?..

– Приезжала! – И дедушка радостно улыбнулся. – Отыскала меня, старика...

– Здесь?

– Да! Вот как. Барыня совсем. И все у нее по-хорошему. Меня приласкала – подарков навезла. Арапку в самую морду поцеловала. Просила ее у меня. "У нас, – говорит, – холить ее станут..." Ну да нам-то не расстаться с ней. И она от тоски подохнет.

– А Арапка ее узнала?

– Ну, где... Комочек ведь была она тогда... девчонка-то... Эх, брат Арапка, пора нам с тобою на вечное успокоение. Пожили, будет... А?

Арапка вздохнула.

Через год я был опять в том селе.

На кладбище мне показали белый крест. Под ним действительно нашел упокоение старый фельдфебель. На клене над ним заливались щеглы, дрались веселые чижи… Могилу всю травкой занесло. Наивные белые цветки ласково, по-детски смотрели на меня оттуда. Нахальный желтый курослеп хотел было на самый холмик взобраться, да не смог – в ногах остался. Вдали блестел крест над куполом сельской церкви… Тихо было, мирно, благолепно кругом…

- А Арапка где? – спросил я.

- Собака-то… Как дедушка помер – она с могилки уйти не хотела. Не емши, не пимши все жалилась и землю рыла. Да куда! – лапы у ей дряхлые, слабые… Тут и поколела… на этом месте…

- Где ошейник ее?.. Не остался ли?

- Нет, куда… Батько к целовальнику сволок. Потому у нас вот как пили тогда на селе, как рощу у барина покупали… Ну и Арапкино добро туда же пошло…